

Александр Нилин

Александр Нилин

**СТАНЦИЯ
ПЕРЕДЕЛКИНО:
ПОВЕРХ ЗАБОРОВ**

роман частной жизни



Москва
редакция
Елены Шубиной
Издательство **АСТ**

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Н 66

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Издательство благодарит за предоставленные фотоматериалы
Государственный литературный музей

В книге использованы фотографии из личного архива
А.П. НИЛИНА, а также семейных архивов А.А. ФАДЕЕВА,
К.И. ЧУКОВСКОГО, С.С. СМИРНОВА

Нилин, Александр Павлович.

Н 66 Станция Переделкино: поверх заборов : роман частной жизни / А.П. Нилин. — Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. — 560 [3] с. — (Мемуары — XX век).

ISBN 978-5-17-087072-1

Александр Нилин — прозаик и мемуарист, автор книг о легендах большого спорта. “Станция Переделкино: поверх заборов” — необычные воспоминания о жизни писателей и поэтов, разведённых личной судьбой и степенью известности, но объединённых “единством места и времени” — дачным поселком литераторов, где автор живёт со дня своего рождения. С интонацией одновременно иронической и сочувствующей А. Нилин рассказывает о своих соседях по “писательскому городку”, среди которых Борис Пастернак, Александр Фадеев и Ангелина Степанова, Валентина Серова и Константин Симонов, Чуковские, Катаевы, семья автора “Брестской крепости” Сергея Смирнова, Юрий Олеша...

Полагаясь на эксклюзив собственной памяти, в “романе частной жизни” автор соединяет первые впечатления ребенка с наблюдениями и размышлениями последующих лет.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-087072-1

© Нилин А.П.
© ООО “Издательство АСТ”

Оглавление

| | | |
|------|-------------------------|-----|
| I. | Поверх заборов | 11 |
| II. | Лауреаты..... | 95 |
| III. | Аллея классиков | 169 |
| IV. | Дом творчества..... | 305 |
| V. | Предполагаем жить | 521 |

Они ушли, а я остался их соседом
по Переделкину, по времени и по себе,
вместившему память об ушедших...

Александр Нилин

Судя по всему, я и зачат был здесь длинной дачной ночью осенью тридцать девятого — и мне ли не чувствовать дачный поселок Переделкино своей родиной?

Все, кого узнал я в раннем детстве (или чуть-чуть позже), давно ушли, и вот что самое забавное: очень скоро не будет и меня — ребенка, впервые увидевшего литературных людей сквозь штакетник соседских заборов.

Для красного словца, без которого про писателей не скажешь, я сразу же отчасти и приврал: за войну все заборы между дачами сожгли, и вновь они появились позднее, когда я чуть подрос.

Мое первоначальное представление о Переделкине — территория, не разграниченная ни послевоенным штакетником, ни сплошными заборами впоследствии.

И какой сюжет мог увлечь меня больше, чем тот, что заложен был в особенностях писательского соседства — менявшегося в оттенках, но все равно продолжавшегося?

Все, кого знал я с детства, исчезли.

Они уходили один за другим. Одни жили в Переделкине (и вообще) очень долго, другие относительно долго; были и такие, что ушли, как принято говорить, безвременно, хотя кому дано знать, с какой интенсивностью расходуется время, отведенное на жизнь каждого из нас.

Они ушли, а я остался их соседом — по Переделкину, по времени и по себе, вместившему память об ушедших.

“Но кто мы и откуда...”

Доподлинно ли знаю, что строчка эта сочинена на дачной переделкинской земле?

А какая — в данном случае — разница?

Книги на тщательно проверенном справочном материале напишут другие, а ты, Саша (я то есть), полагайся на эксклюзив собственной памяти.

И все же лестно надеяться, что вопросом “кто мы” и так далее наш сосед задался именно в Переделкине.

К тому же сам Борис Леонидович предпочитал тасовать карточную колоду безусловных реалий по своему усмотрению: не согласился же он с замечанием Ахматовой, что в белые ночи питерских фонарей не зажигали, — в его трансформации ночей утро должно было тронуть “первой дрожью” фонари непременно зажженные, а то как бы он назвал их “бабочками газовыми”?

За годы, проведенные в писательском поселке, я так и не сделался арендатором и прожил в Переделкине больше семидесяти лет на птичьих (родственных) правах.

Официальным владельцем здешних угодий считается потерявший свое прежнее значение Литературный фонд.

Но принадлежит Переделкино в своей писательской части и будет все равно принадлежать, когда исчезнет физически (что не за горами, а точнее, за гибнущим лесом), истории, и не только истории литературы.

И я, ничуть не смущенный неопределенностью своего статуса, позволяю себе развести действующих в повествовании лиц в определенную (мною же определенную) мизансцену для моментальных снимков.

I. Поверх заборов

Глава первая

1

Среди игрушек моих в последний год войны выделил бы кроме большой, не заряженной, естественно, ракетами, ракетницы фотоаппарат — тоже немецкий, трофейный и тоже не заряженный, что менее естественно, пленкой. Не было пленки, ничего не поделаешь, да и не требовалось ее для осуществления моих детских замыслов.

Ни тогда, ни потом я не хотел ничему учиться — и фотографировать не учился (да и у кого я в тот год мог учиться, если бы даже вдруг захотел). Зато легко воображал себя приезжавшим иногда на дачу к моему отцу Виктором Тёминым, известным во время войны фотокорреспондентом, — я и всю дальнейшую жизнь себя постоянно кем-то воображал и до сих пор воображаю; интересно, в чьем образе умру (неужели в своем собственном наконец?).

Весной сорок пятого года маршал Жуков хотел Тёмина расстрелять за то, что фотограф самовольно улетел на его самолете в Москву. Но тут же выяснилось, что маршалским самолетом фотограф доставил в газету “Правда” снимок знамени над Рейхстагом (позже я услышал, чего стоила организация этой затеянной политуправлением фотосъемки), — и Жукову из-за исторического значения снимка пришлось свое решение о расстреле корреспондента отменить.

О намерении Жукова я не мог тогда знать, но видел, сколько на пиджаке всегда пьяного фотографа боевых наград.

Я бродил по поселку — и всех встречных (а на аллеях Переделкина народу встречалось тогда мало) фотографировал, и в частности Александра Александровича Фадеева.

Заслуги и звания Александра Александровича в ту пору не были мне известны — он, кстати, в сорок пятом году и не стал еще писательским министром (правда, членом Центрального комитета партии оставался, что вряд ли мог принять я во внимание, не осведомленный о партийной иерархии, и уже не помню сейчас, знал ли о роли коммунистической партии вообще). Но, вероятно, в тоне взрослых, произносящих имя Фадеева, что-то я улавливал — и когда при следующей встрече Александр Александрович серьезным голосом спросил меня: “А когда принесешь карточки, Саша?” — необычайно взволновался: в мечтания, которые смело полагал я реальностью, вторглась реальная реальность, с ней я как-то себя не соотносил (и соотношу ли сейчас, не излечившись от мечтаний?).

Я прибежал домой и спешно стал рисовать — не карандашом, заметьте, а обмакнутым в чернильницу пером — и ждал с испугом, но и не оставлявшей меня надеждой, что фокус мой пройдет.

На мою удачу — удачей, однако, считаю, не тогда, конечно, а сегодня, осмысливая всю свою жизнь целиком, не то вовсе, что мой обман не раскрылся, а то, о чем сейчас скажу, — на тогдашнюю, подчеркну, мою удачу, Фадеев так никогда больше про снимки не спросил.

Удачей же — одной из очень немногих за всю, повторяю, жизнь — стало открытие для себя жанра “изображения и рассказа”: я фантазирую, что фотографирую натуру, а на самом деле пытаюсь нарисовать ее, сменив со временем перо на пишущую машинку в прошлом веке и на компьютер в наступившем.

Поэтому и не стоит удивляться, что Александр Александрович Фадеев занимает в моих воспоминаниях большую площадь.

Хотя есть на то и другие причины.

Фотографировал я Фадеева летом, но в сознание мое он вошел как человек из зимы.

Так и вижу до сих пор снег на краю дачного участка с нашими глубокими в нем следами — и Фадеева в узком черном пальто (я любил военную форму и людей в ней, сам носил шинель, перешитую из гимнастерки жившим на адмиральской даче портным по фамилии Свинын), остановившегося на дороге, которая называется теперь улицей Горького.

Мы с отцом пилим дерево.

Генетический — по отцовской линии — крестьянин, я терпеть не мог с детства физический труд (позже догадался, что не люблю вообще никакой труд — ни физический, ни тем более умственный, не знал, что буду к нему приписан). Но в раннем детстве моем выбирать не приходилось: младший брат, любящий всякий труд, еще не родился, в семье, кроме отца, мужчин больше не было — и я пилил дрова, колол, помогал корчевать “вагой” (никогда потом не слышал больше названия этого инструмента) пни; мы даже разобрали на дрова бревенчатый блиндаж, оставшийся на участке нашем с войны (до боевых действий в Переделкине не дошло, но блиндажи вырыли). А летом и картошку копал и окучивал, на слуху были слова “рассада”, “усы” (клубника тоже была своя); помидоры не успевали приобрести красный цвет за лето, дозревали, зеленые, на закрытой террасе.

Но пока стоит снежная зима, и Фадеев от дороги идет к нам в своем узком черном пальто.

Фадеев берет у меня пилу, и они с отцом вместе пилят, о чем-то, мне неинтересном (я не вслушиваюсь), разговаривают.

И вдруг вижу, что лицо Александра Александровича меняется, словно вспомнил он о чем-то важном, — и чуть краснеет. “Павлик, — спрашивает он отца, — а у тебя есть разрешение лесхоза — пилить?”

Лесхоз вообще-то в двух шагах от нашей дачи. Но разрешения пилить сухое дерево нет — отец не удосужился спросить и отвечает, что нет, нет разрешения. Фадеев огорчен — пилят тем не менее дальше.